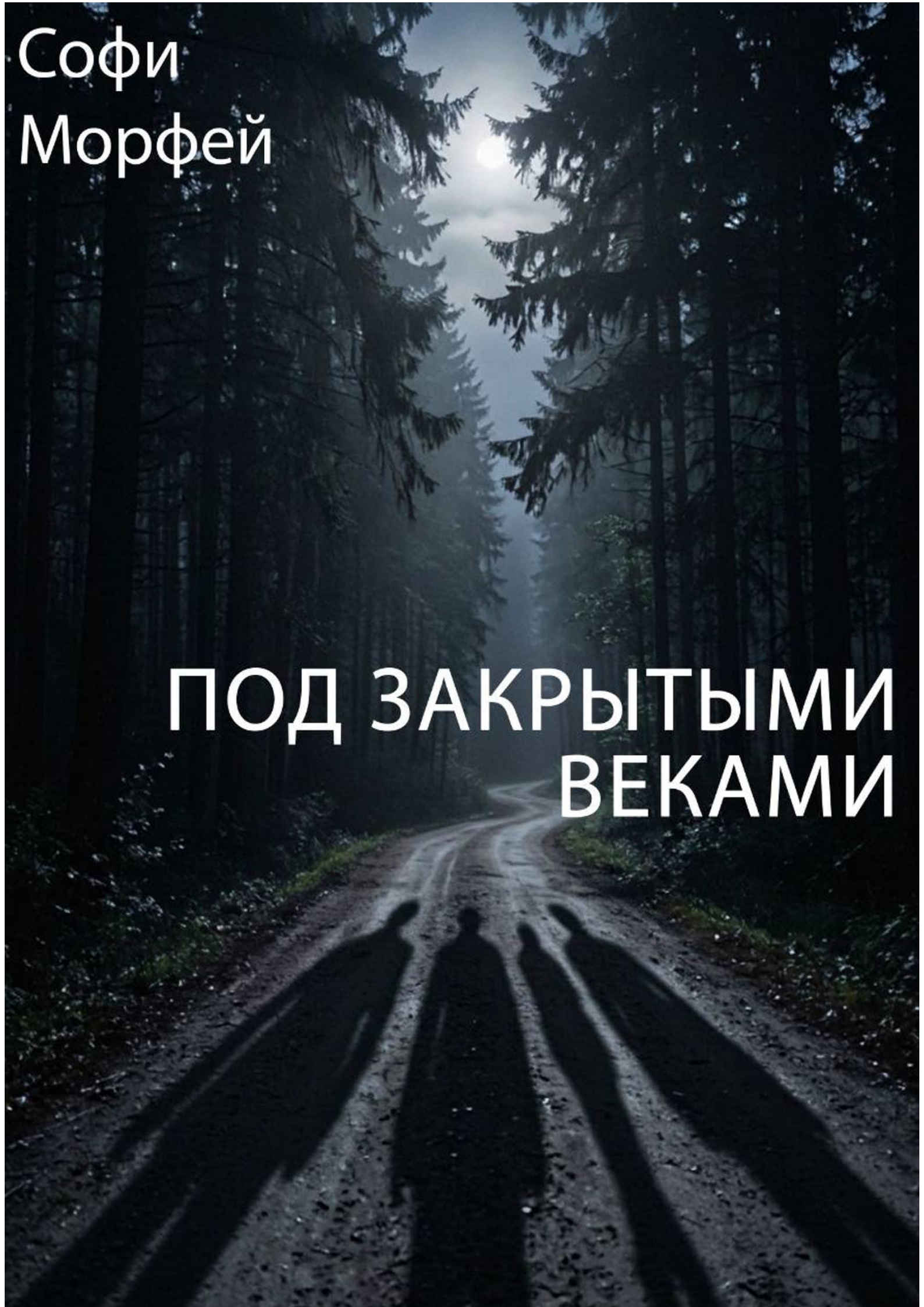


Софи
Морфей

ПОД ЗАКРЫТЫМИ
ВЕКАМИ



Софи Морфей

Под закрытыми веками

«Автор»

2026

Морфей С.

Под закрытыми веками / С. Морфей — «Автор», 2026

Сборник пугающих историй, рожденных из самых темных уголков подсознания. Каждая глава — это отдельный кошмар, превращенный в реальность. Здесь сны переплетаются с явью, а грань между реальностью и безумием стирается до неузнаваемости.

© Морфей С., 2026

© Автор, 2026

Софи Морфей

Под закрытыми веками

Глава 1

КЛИНИКА

Глава 1. Тропа, которая не ведёт никуда

Я навсегда запомнила тот день и эту дорогу. Не саму дорогу — асфальт немного разбитый, из-за чего машины стараются ехать аккуратнее, и серпантин, снижающий возможность объезда части дороги.

В тот день мы с папой ехали к бабушке. Обычная поездка, которую я знала наизусть: поворот у старой заправки, мостик, потом серпантин по горе, где деревья смыкаются над головой так плотно, что кажется, будто едешь по зелёному тоннелю. Но в тот раз всё пошло не так. Навигатор потерял связь и перестал нас определять на местности, а пробка впереди встала намертво, и было решено искать объезд самостоятельно.

На обочине я увидела съезд в лес, по моему предположению дорога вела вниз по склону, и мы должны были выехать примерно к деревне бабушки. Приняв решение ехать по этой тропе, мы свернули вправо.

Сначала это выглядело как спасение от пробки: никто больше за нами не поехал, и мы двигались в своем темпе. Но чем дальше мы ехали, тем гуще становился лес. Ветви царапали бока машины, будто пытались её остановить. И в какой-то момент тропа просто закончилась. Не перегороженная шлагбаумом, не перекрытая ремонтом — она просто растворилась в зарослях, оставив нас перед стеной из кустарника и поваленных деревьев. Тупик.

Папа ещё пару минут крутил руль, пытаясь найти объезд, но я уже знала: отсюда не выбраться. И именно в этот момент из-за деревьев выбежал он.

Бедолага. Так я потом его и называла про себя, потому что имени его никто не знал.

Он бежал не как человек, который хочет спастись, а как загнанный зверь, у которого отказали тормоза. Его силуэт мелькнул между стволов — рваная куртка, босые ноги, покрытые грязью и царапинами. А потом он выскочил прямо перед капотом.

Я закричала. Папа ударил по тормозам.

Когда машина остановилась, он замер прямо в свете фар. И тогда я смогла его разглядеть.

Это было лицо человека, которого сломали. Не просто напугали, не просто избили — именно сломали, как ломают старую мебель, чтобы пустить на дрова. Спутанные волосы, а на лице — шрамы, свежие и старые, пересекающиеся, как линии на топографической карте. Рот исказился в попытках кричать, но слов не было, только кряхтения. Зрачки расширены и таршились на машину, как на НЛО.

Он снова рванул к машине. Не к дверце, не к стеклу — прямо к капоту, будто хотел разбить его собой, но не успел. Папа быстро включил заднюю передачу, и мы понеслись назад по той же тропе, подпрыгивая на корнях и оставляя за собой шлейф пыли и ужаса.

Последнее, что я увидела в зеркало заднего вида, — как бедолага рухнул на колени и закрыл лицо руками, а из леса, словно из самой темноты, вышел человек в белом халате.

Мы спешно вернулись на трассу и встали обратно в пробку. Оба молчали и не понимали, что делать. Через некоторое время навигатор снова заработал, и стало понятно почему была пробка — на кочках у машины отвалилось колесо и пришлось ее объезжать через встречку. Внутри меня всё дрожало, как будто и у меня что-то отвалилось внутри и осталось в этом лесу, и эта дрожь не унималась ещё несколько дней.

А потом я узнала, куда вела та тропа.

Глава 2. Имя, которое стёрли

У меня было имя. Я точно знаю, что было, потому что помню, как его произносили. Не слышу — именно помню, как губы складывались в эти звуки, как голос матери тянул последнюю гласную, будто не хотел её отпускать. Но само имя... оно стёрлось. Как надпись на старом надгробии, которую дождь и ветер съедают год за годом, пока не остаётся гладкий камень.

Я помню другое. Я помню, как пахло дома. Борщом и стиральным порошком. Как за окном росла яблоня, и осенью яблоки падали на крышу сарая с глухим стуком, и я каждый раз вздрагивал, хотя знал, что это всего лишь яблоки. Я помню, как отец учил меня менять колесо на машине, а я не мог стронуть гайки и злился, а он смеялся и говорил: «Ты не той стороной давишь. Надо на себя, а не от себя».

Мне было двадцать восемь. Я работал строителем. Не прорабом, не инженером — просто строителем, тем, кто кладёт кирпич и заливает бетон. Работа была тяжёлая, но честная: к вечеру руки гудели, а в голове было пусто и спокойно. Мне хватало этого.

Я никогда не искал приключений. Я вообще не понимал людей, которые ищут — у которых чешется, кому тесно, кому надо куда-то бежать. Мне было нормально. Мне было хорошо. Я любил тихие вечера с пивом и телевизором, любил звонки матери по воскресеньям, любил запах свежего бетона утром, когда солнце ещё низкое и всё кажется чистым.

Я не помню, как попал сюда.

Это самое страшное — не помнить. Помню, как ехал домой с работы. Дорога была знакомая, я проехал её тысячу раз. Пробка — обычная, вечерняя, кто её не видел. Я свернул на объездную, чтобы срезать. Грунтовка, лес, тишина. Потом... ничего. Как будто кто-то выключил свет, и я повис в темноте, не понимая, сколько прошло времени.

Когда я очнулся, я лежал на койке. Пахло сыростью и больницей — тем специфическим запахом, который въедается в стены, в одежду, в кожу, и его ничем не вывести. Надо мной горела лампа — голая, без плафона, тусклая, мигающая, будто тоже была больна.

Я попытался сесть, но не смог. Ремни. На руках, на ногах, на груди. Я дёрнулся — ремни впились сильнее. Тогда я закричал, и мне ответил только эхо — длинное, гулкое, будто здание было пустым.

Он появился не сразу. Я не знаю, сколько времени прошло — может, час, может, сутки. Я не мог определить: окно в палате было заклеено газетами, а часы я не нашёл. Он просто вошёл — тихо, без стука, как будто дверь для него не была преградой.

Белый халат. Очки в тонкой оправе. Лицо — обычное, не страшное. Вот что меня тогда поразило: он не выглядел как маньяк. Он выглядел как врач. Спокойный, деловитый, с тонкими пальцами, которые держали планшет с бумагами.

— Доброе утро, — сказал он. Голос был мягкий, почти ласковый. — Меня зовут доктор Лиговский. Вы в клинике. Вам стало плохо на дороге, вас привезли сюда.

Я поверил. Не сразу, но поверил. Потому что хотел верить. Потому что альтернатива была слишком страшной, чтобы принять её за правду.

— Что со мной? — спросил я. Голос был хриплым, будто я долго не говорил.

— Мы выясняем, — ответил он и улыбнулся. — Потерпите немного.

Он достал шприц. Я увидел иглу и напрягся — я всегда боялся уколов, с детства. Но он сказал:

— Это витамины. Чтобы восстановить силы.

И я кивнул. Потому что врачи знают лучше. Врачи лечат.

Укол был холодным. Жидкость влилась в вену, и мир поплыл. Не потемнел — именно поплыл, как будто стены стали мягкими, а потолок наклонился. Я почувствовал, как тело расслабляется, как тревога уходит, растворяясь в чём-то тёплом и вязком.

Это был не витамин.

Дни не существовали. Я не знаю, сколько длился каждый — может, несколько часов, может, вечность. Препараты превращали время в кашу: я не мог сказать, спал я или бодрствовал, видел сны или галлюцинации. Реальность стала жидкой, и я в ней тонул.

Лиговский приходил регулярно. Он делал уколы, что-то записывал, иногда разговаривал со мной. Но разговоры были странными — он не спрашивал, как я себя чувствую. Он спрашивал, что я вижу, что слышу, чего боюсь. А потом вводил новый препарат и наблюдал.

Я перестал различать лица. Мать, отец, соседи по площадке — все превратились в размытые пятна, которые я не мог удержать в памяти. Я хватался за них, как за края мыла в мокрой руке, но они выскальзывали. Один за другим.

Сначала исчезли имена. Потом — лица. Потом — запахи. Потом — слова.

Я забыл, как звучит смех. Забыл, что такое голод — Лиговский кормил меня через капельницу, и тело перестало требовать еды. Забыл, что такое хотеть. Желания стёрлись, как надпись на мокром асфальте.

Но одно осталось. Одно, что Лиговский никак не мог выжечь, — страх. Не страх боли, не страх смерти. Страх, что я исчезну. Что от меня ничего не останется, кроме тела, которое дышит по инерции.

Этот страх и заставил меня бежать.

Не знаю, как мне удалось. Помню — было раннее утро, Лиговский ещё не пришёл. Руки ослабли от уколов, но ремни — нет. Однако замок на одном из них барахлил, я это давно заметил: он не защёлкивался до конца, просто Лиговский не придавал этому значения.

Я работал с замком час, может, больше. Пальцы не слушались — они были вялые, как варёные. Но страх был сильнее пальцев. Страх говорил: «ещё раз, ещё, ещё» — и я снова и снова дёргал ремень, пока металл не лязгнул и рука не выскользнула.

Остальное было проще. Ноги — слабые, непослушные, но я заставил их нести меня. Дверь палаты была не заперта — Лиговский не считал нужным запирать того, кто едва может стоять. Коридор — длинный, тёмный, пахнувший мочой и хлоркой. Я бежал, держась за стену, и стена была единственным, что не плыло под ногами.

Выход. Я не помню, как нашёл его — может, по запаху леса, по ветру, который просочился сквозь щель. Дверь была тяжёлая, ржавая, но я навалился всем телом, и она поддалась с жалобным стоном.

И я побежал.

Лес. Мокрый, густой, враждебный. Я не знал, куда бегу — просто вперёд, подальше от здания, от запаха, от уколов. Ветки хлестали по лицу, корни цеплялись за ноги, я падал, вставал, снова падал. Тело было чужим: ноги двигались рывками, руки не слушались, в глазах всё двоилось и троилось. Но я бежал, потому что стоять означало сдаться.

И тогда я услышал звук. Мотор. Шины на грунте. Машина.

Я выскочил на тропу — прямо перед капотом. Фары ослепили меня, и я замер, как кролик, как загнанный зверь, в которого я, наверное, и превратился.

В машине были люди. Отец и дочь — я видел их смутно, как сквозь мутное стекло. Девочка смотрела на меня, и в её глазах был ужас. Настоящий, живой — тот, который я давно забыл, потому что сам перестал его чувствовать.

Я рванул к ним. Не чтобы напасть — чтобы спастись. Я хотел закричать: «Помогите, заберите меня, он идёт!» Но из горла вышел только хрип — слова забылись, остались только звуки, и те были страшные, нечеловеческие.

Машина сдала назад. Развернулась. Уехала.

Я упал на колени и смотрел, как она исчезает за деревьями. Красные габариты мелькнули в последний раз и погасли. И тогда из-за деревьев вышел Лиговский.

Он не бежал. Он шёл спокойно, не торопясь, как человек, который точно знает, что добыча никуда не денется. В руке у него был шприц — я уже знал этот шприц, знал, что в нём.

— Куда же ты, — сказал он тихо, почти ласково. — Мы же не закончили.

Я не сопротивлялся. Не было сил. Не было слов. Не было страха — только пустота, в которой ещё тлел крошечный огонёк чего-то человеческого. Огонёк, который Лиговский не смог потушить.

Меня вернули в клинику. Уколы стали чаще. Дозы — больше. Лиговский был доволен: неудачный побег дал ему новые данные. Он понял, что какая-то часть меня ещё сопротивляется, ещё хочет жить — и это значило, что эксперимент не завершён.

— Ты ещё здесь, — сказал он однажды, глядя мне в глаза. — Я вижу. Тебе кажется, что тебя нет, но ты ещё здесь. И это прекрасно. Это значит, что граница ещё не пройдена.

Он улыбнулся. Не злобно — искренне. Для него я был не человек, а граница. Точка, до которой можно стереть личность, не убив тело. И он хотел знать, где эта граница проходит.

Сначала я пытался держаться. Думал о матери — её лицо уже стёрлось, но я помнил тепло ее рук. Я держался за эти руки, как за спасательный канат, и каждый вечер, когда Лиговский уходил, я мысленно проговаривал: «Руки. Тепло».

Но каждый день что-то уходило. Сначала я перестал различать цвета — мир стал серым, будто выцвел. Потом исчезли звуки: я слышал только гул, ровный, низкий, как работа машины, и в этом гуле тонули все остальные звуки. Потом — запахи. Последним пропал запах яблонь, и я заплакал, хотя не знал, почему.

Я плакал, а Лиговский делал пометки.

Шли месяцы. Или годы. Я не знал. Время измерялось уколами — каждый новый укол был новая точка, после которой что-то исчезало. Я терял себя по кусочкам, как дом, из которого выносят мебель: сначала крупное — кровать, шкаф, стол; потом мелкое — чашки, книги, фотографии; и наконец остаётся пустая комната с голыми стенами, в которой гуляет эхо.

Я стал этой комнатой.

Но тот огонёк не гас. Маленький, тусклый, где-то глубоко, на дне. Он не давал мне исчезнуть окончательно, и Лиговский это чувствовал. Он злился — не на меня, на себя. Не мог найти ту последнюю точку, после которой огонёк погаснет, и останется только тело. Только материал.

После моего побега он изменился. Стал жестче. Если раньше уколы были аккуратными, почти нежными, то теперь он вводил препараты торопливо, жадно, будто боялся, что я снова сбегу. Появились новые лекарства — они жгли вену, и я кричал, а он записывал: «Реакция на стимул: сильная. Время отклика: 4 секунды».

Четыре секунды. Моя боль помещалась в четыре секунды.

Иногда он выводил меня гулять. Не на улицу — во двор клиники, обнесённый ржавой оградой. Я ходил по кругу, как зверь в клетке, и мне было всё равно. Ноги двигались сами, тело шло, а внутри не было ничего. Только туман, серый и вязкий, в котором я тонул всё глубже.

Однажды во время такой прогулки я увидел кота. Белого, тощего, с облезлой шерстью. Он сидел под кустом и смотрел на меня. Не боялся — просто смотрел, и в его глазах было что-то, чего я давно не видел в чьих-то глазах: живость. Настоящая, звериная, нечеловеческая. Кот жил. Чувствовал. Боялся. Хотел есть.

Я протянул руку. Кот не убежал, но и не подошёл. Только моргнул и отвернулся. И я понял: даже кот знал, что от меня не стоит ждать ничего. Что я — не тот, с кем можно быть рядом.

Лиговский потом поймал этого кота. Я не знаю зачем — может, тоже для эксперимента. Я видел его однажды на поводке: кот дёргался, падал, вставал, снова падал. Его лапы не слушались, и он двигался рывками, как сломанная игрушка. Но он тянул поводок — рвал, дёргал, изо всех своих кошачьих сил.

Он хотел жить. Больше, чем я.

Утро. Или вечер — не различить. Окно заклеено газетами, свет одинаковый всегда.

Лиговский пришёл, сделал укол. Жжение в вене, потом тяжесть. Записал что-то в блокнот, ушёл. Ремни на месте. Всё, как всегда.

Прогулка. Двор, ограда, ржавчина. Иду по кругу — ноги чужие, ватные, тело ведёт себя само, без моего участия. Трава под ногами серая, хоть ей положено быть зелёной. Была когда-то. Кажется, была.

Стоп. Что-то под ногой.

Смотрю — осколок стекла. Маленький, на ладонь, с острым краем. Прозрачный. Откуда — разбитое окно, кто бросил, не важно. Важно, что острый.

Наклоняюсь медленно, будто споткнулся. Лиговский не смотрит, он с блокнотом — записывает. Осколок в ладони, холодный, режет кожу изнутри, но я сжимаю кулак крепче. Чувствую — это что-то. Давнее, забытое. Боль. Я ещё могу чувствовать.

Прячу осколок в карман, Лиговский не проверяет мои карманы.

Ночь. Темно и тихо.

Замок на правом ремне тот самый, который барахлит. Я знаю давно — просто до сегодняшнего дня не было смысла. Рука свободна. Левая осталась, неважно. Одной хватит.

Осколок уже лежит на ладони, блестит даже в темноте. Кладу край на запястье, туда, где вена. Вижу её — тонкая, синяя, пульсирует под кожей. Веду. Медленно, чтобы чувствовать. Потому что чувствовать — это последнее, что осталось.

Тепло разливается по руке. Тихо. Спокойно. Хорошо.

Тяжесть медленно разливается по телу, но туман в голове растворяется, как будто ветер ворвался в комнату, и на секунду — только на одну секунду — всё становится ясным. Цельным. Настоящим.

Яблоня за окном, крупные яблоки на ветках. Мать стоит на крыльце, вытирает руки о фартук, зовёт: «Серёжа, иди есть!» Голос её — высокий, тёплый, тянущий последнюю гласную, будто не хочет её отпускать. Пахнет борщом и яблоками. Отец у машины вытирает руки ветошью, улыбается. Мне десять. Лето. Вечер. Длинные тени на траве, и я стою посреди двора, и всё просто. Всё на месте. Я — на месте.

Сергей. Меня зовут Сергей. Мама зовёт Серёжа. Сергей Андреевич Воронин. Строитель. Двадцать восемь лет. Яблоня. Борщ. «На себя, не от себя» — это отец про гайку. Про колесо. Я помню. Я — это я. Был. Есть. И остался в палате.

Туман снова накрывает. Мягко, тихо. Тени гаснут. Голос матери тает. Яблоня растворяется в серой мгле.

Из отчёта доктора Лиговского

Объект №3. Воронин Сергей Андреевич, 28 лет.

Статус: скончался.

Причина смерти: вскрытие вен верхней конечности осколком стекла, найденным субъектом на территории прогулочного двора.

Время смерти: ориентировочно 02:00–04:00.

Субъект обнаружен утром на койке. Правое запястье — две параллельные резаные раны, глубина до 4 мм, обильная кровопотеря. Осколок стекла — на полу, у койки. Происхождение осколка: вероятнее всего, разбитое окно в западном крыле, не учтено при осмотре территории.

Замок на правом ремне — дефект фиксации, не устранён. Моя ошибка.

Вывод по эксперименту: объект продемонстрировал целенаправленное действие — поиск, сокрытие и использование орудия с осознанным намерением прекращения собственного существования. Это указывает на сохранность волевого компонента личности на фоне тотальной медикаментозной депривации. Полная стирка не достигнута.

Итог: эксперимент не удался. Человеческое не стирается. Оно уходит само.

Глава 3. Добро пожаловать в клинику

Старая психиатрическая клиника. Её закрыли лет десять назад после какого-то скандала — говорили, что там пропали пациенты, но никто толком не знал, что случилось. Здание стояло на отшибе, окружённое ржавой оградой и колючей проволокой, которая висела лохмотьями, как старая паутина. Местные обходили это место стороной. Говорили, что там водятся не только крысы.

Но я не верила. До того дня.

Потому что теперь я знала: кто-то там остался. И еще кто-то, кто носил белый халат.

Я не должна была туда возвращаться. Папа строго-настрого запретил даже думать об этом месте. Но я не могла выбросить из головы лицо бедолаги. Оно стояло перед глазами каждую ночь, когда я закрывала глаза. И однажды я пошла туда одна.

Не к самому зданию — я не была настолько глупой. Я шла по той самой тропе, по которой мы ехали тогда, пытаясь понять, как человек мог оказаться в таком состоянии. И чем ближе я подходила, тем сильнее пахло лекарствами. Станный запах — горький, металлический, будто где-то рядом открыли банку с химикатами.

И тут я увидела его.

Тот самый доктор.

Он шёл по тропинке навстречу мне, ведя на поводке белого кота. Кот был странным: он дёргался, будто его били током, падал, вставал, снова падал, но продолжал тянуть поводок вперёд, словно хотел убежать от доктора, но не мог. Его лапы не слушались, двигались рывками, как у сломанной игрушки.

Доктор был в очках, в грязном белом халате, на котором темнели пятна — то ли кровь, то ли что-то ещё. Он шёл спокойно, почти лениво, будто прогулка с больным котом — самое обычное дело на свете.

Наши взгляды встретились.

И в эту секунду меня накрыло. Холод прошёл по спине, как ледяная вода, и я поняла: он знает, что я видела. Он знает, что я знаю. И теперь я — следующая.

Я развернулась и побежала. Не оглядываясь, не думая, просто бежать, пока ноги держат. Но я не успела.

Удар в затылок был коротким и точным. Я даже не успела закричать. Мир погас, как выключенная лампочка.

Последнее, что я запомнила, — как кот рванулся в сторону, сорвал поводок и исчез в кустах. А доктор наклонился ко мне, поправил очки и прошептал:

— Добро пожаловать в клинику.

Когда я очнулась, вокруг была темнота. Пахло сыростью и чем-то едким, похожим на формалин. Где-то капала вода. Я лежала на жёсткой койке, руки были привязаны ремнями, а на запястье пульсировала вена — свежая, будто только что сделали укол.

Я не знала, сколько времени прошло. Час? День? Неделя? Время здесь не имело значения.

Я пробовала кричать. Голос не шёл дальше стен — здание глотало звук, перетирало его в гул. Пробовала дёрнуть ремни — они впивались всё сильнее.

А потом приходил Лиговский. Делал укол. Что-то записывал. Иногда говорил — не со мной, а как бы сам с собой, будто я экспонат, которому не нужно отвечать.

— Тише, — сказал он однажды. — Ты только тратишь то, что я пытаюсь сохранить.

Я замолчала. Не сдалась — просто поняла: изнутри это место не победить. Здесь его правила, его стены, его препараты. Оставалось одно — ждать. Ждать, что кто-то придёт снаружи.

Папа знал, что я ходила туда. Видел, как я вздрагиваю, когда проезжаем мимо поворота на ту грунтовку. Видел, как подолгу смотрю в окно в сторону леса, где пряталась клиника. Он злился, ругался, запрещал — но он знал.

Когда я не вернулась к вечеру, он не стал ждать утра. Позвонил мне — телефон был недоступен. Позвонил подругам — никто меня не видел. Поехал к тому повороту — увидел мою машину на обочине, с сумкой на сиденье. Меня не было.

Он позвонил в полицию. Сказал: «Моя дочь пропала. Я знаю где. Заброшенная клиника за лесом, в тупике. Идите туда». Ему ответили, что формально оснований для выезда нет. Но папа не принимал «нет». Он поехал в участок лично и стоял в коридоре, пока не добился разговора с дежурным.

Дежурный слушал-слушал, потом спросил: «А что вы делали на той дороге?» Папа ответил: «Ехали мимо. Видели человека в страшном состоянии. Не доложили — наша ошибка. Теперь моя дочь там. Идите. Прошу».

Через два часа выехал наряд. Папа — с ними.

Они нашли клинику ночью. Здание стояло в темноте, как гнилой зуб — ржавая ограда, выбитые окна, колючая проволока лохмотьями. Собаки из участка поджимали хвосты, но упорно тянули за собой полицейских.

Папа бежал впереди полицейских. Он знал куда — по запаху, по чему-то отцовскому, что не объяснить протоколами и инструкциями. Он ворвался в здание и кричал моё имя. Голос его нёсся по коридорам, отскакивая от стен, и я услышала его — сквозь препараты, сквозь туман, сквозь всё.

— Папа, — прошептала я. Громче не вышло. Но он услышал.

Дверь палаты выбили. Свет фонарика — резкий, болезненный. Ремни — перерезали. Меня вынесли на руках. Папа нёс, а я вцепилась в него и не отпускала, пока не увидела небо — настоящее, не заклеенное газетами. Звёзды. Холодный воздух. Запах леса, не лекарств.

В коридоре, у лестницы, на полу лежал белый халат. Грязный, с тёмными пятнами. Рядом — очки в тонкой оправе. Стекло треснуло.

Лиговского не было.

Как позже мне сообщили, полицейские нашли его кабинет. Дверь была приоткрыта. На столе — стопки бумаг, папки, блокноты. На стене — фотографии: жена, дочь, сын. Все улыбаются. Под ними — короткая надпись от руки: «Они не поняли».

Изучили его записи. Там было про меня. Про Сергея Воронина. Про других — безымянных, обозначенных только номерами. Про препараты, про реакции, про «данные». Про то, как он искал границу, где человек перестаёт быть собой.

И последняя страница. Одна фраза, написанная крупнее остального, будто он выводил её долго, подбирая каждое слово:

«Человеческое не стирается. Оно уходит само. Но я найду способ удержать».

Под фразой — пустая строчка. Как будто он собирался дописать, но не успел. Или не захотел.

Лиговского так и не нашли. Ни в лесу, ни на трассах, ни в заброшенных домах по соседству. Ни живым, ни мёртвым. Будто он стёр себя сам — как пытался стирать других.

Нашли только записи. И халат с очками у лестницы.

Папа сидел рядом со мной в больнице, пока мне выводили препараты. Не уходил ни на минуту. Молчал, только сжимал мою руку — крепко, до белизны в костяшках, как тогда на руле.

— Он ушёл, — сказал папа однажды, глядя в окно. — Но он где-то есть.

— Его поймут, — ответила я, скорее чтобы успокоить себя.

Папа не кивнул. Не стал обещать. Просто крепче сжал мою руку.

Ночью меня мучают кошмары: лицо Лиговского, который наклоняется надо мной и фиксирует что-то в блокнот, тихое, настойчивое мяуканье кота, где-то из коридора. А потом снова становится хорошо: я вижу папу, слышу ровный писк приборов, чувствую запах спирта и кофе

— такой привычный, такой настоящий. Стены больницы. Белые, чистые, с аккуратными табличками на дверях.

Я просыпаюсь, дышу глубже, улыбаюсь папе — он всё ещё здесь, не ушёл.

А потом взгляд цепляется за деталь. За стык плитки у плинтуса — он чуть неровный, будто клали в спешке. Или... будто это не плитка, а покрашенная штукатурка.

И запах. Он тот же, но чуть другой — под спиртом проступает что-то едкое, знакомое до тошноты. Формалин.

Стены... клиники.

Это не больница. Это другое крыло, другая дверь, другой коридор — но тот же пол, те же тени в углах, та же тишина, которая не бывает настоящей. Сюда Лиговский перенёс меня за несколько часов до приезда полицейских, пока папа метался между участком и лесом, пока собаки рыли лапами сырую землю.

Он сотворил препарат, который дал мне эту комнату, этот запах, этого «папу», который сидит и сжимает мою руку, и я верю. Я верю каждую ночь, пока действие препарата не закончится и я не проснусь на секунду раньше — и не увижу стык плитки, не почувствую формалин, не пойму: это всё ещё эксперимент.

Объект №5 всё ещё остаётся экспериментом.